

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ: ОДУШЕВЛЕННОСТЬ  
НЕОДУШЕВЛЕННОСТЬ И КАТЕГОРИЯ ЛИЦА

*Якубова Мунаввар Исмаиловна*

*Преподаватель кафедры русского языка и литературы  
Самаркандского государственного педагогического института*

*Мусурмонова Мехрибону*

*Студентка 3 курса Самаркандского государственного  
педагогического института*

**Аннотация:** В данной статье исследуется дихотомия одушевленности и неодушевленности как фундаментальная лексико-грамматическая категория славянского языкового сознания. Анализирует категорию лица сквозь призму антропоцентрической парадигмы, выявляя точки соприкосновения между морфологической маркированностью и ментальными репрезентациями субъекта. Рассматриваются пограничные случаи субстантивации и десемантизации.

**Abstract:** This article examines the dichotomy of animacy and inanimacy as a fundamental lexico-grammatical category of the Slavic linguistic consciousness. The author analyzes the category of person through the prism of the anthropocentric paradigm, identifying the points of contact between morphological marking and mental representations of the subject. Boundary cases of substantivization and desemanticization are considered.

**Ключевые слова:** лексико-грамматические разряды, одушевленность, категория лица, морфология, антропоцентризм, славистика.

**Keywords:** lexico-grammatical categories, animacy, category of person, morphology, anthropocentrism, Slavic studies.

Грамматическая природа имени существительного в русском языке представляет собой сложную иерархию смыслов, где категория одушевленности выступает не просто формальным признаком, но глубоким культурным кодом. Разграничение «живого» и «неживого» в морфосинтаксисе — это отголосок древних мифопоэтических представлений, застывших в парадигме склонения. Как отмечал в своих размышлениях великий лингвист Виктор Виноградов, категории языка — это не сухие формулы, а живые следы человеческого опыта, где грамматика становится «геометрией духа». Одушевленность в русском языке реализуется через специфическое совпадение падежных форм: для одушевленных имен форма винительного падежа совпадает с родительным (В.п. = Р.п.), в то время как для неодушевленных — с именительным (В.п. = И.п.). Это

формальное различие служит водоразделом между субъектом, наделенным волей, и объектом, являющимся лишь инструментом или средой. Однако за этой формальной ясностью скрывается «семантическая бездна»<sup>1</sup>. Лингвисты часто сталкиваются с феноменами, когда биологическая жизнь не совпадает с грамматической. Например, такие слова как «мертвец» или «кукла», морфологически ведут себя как одушевленные. Здесь мы видим триумф человеческого восприятия над биологическим фактом: «мертвец» в сознании носителя языка — это личность, покинувшая мир, но сохранившая статус «кто», тогда как «труп» — это уже окончательный переход в категорию «что». Как художественно интерпретировал подобные лингвистические парадоксы Андрей Синявский, язык сохраняет память о душе даже там, где физиология видит лишь материю.

Категория лица тесно примыкает к одушевленности, но не тождественна ей. Если одушевленность охватывает весь животный мир, то лицо — это привилегия человека, точка отсчета в коммуникативном акте. Категория лица в системе местоимений и глаголов создает дистанцию между «Я», «Ты» и «Он», где «Он» может быть как одушевленным субъектом, так и безличным объектом.

Критик и теоретик языка Михаил Бахтин в своих работах о диалогизме подчеркивал, что категория лица — это прежде всего социальная позиция. Быть «лицом» в языке означает обладать правом на ответ, быть участником вечного диалога бытия. Вне категории лица коммуникация превращается в трансляцию сигналов, лишенную ценностного наполнения. Морфологическая устойчивость одушевленности во множественном числе (где В.п. = Р.п. для всех родов) подчеркивает коллективный характер восприятия живого. Мы не просто выделяем единичного субъекта, мы маркируем саму принадлежность к «миру чувствующих»<sup>2</sup>. Интересно, что в истории языка эта категория претерпела значительную эволюцию. Древнерусский язык не знал столь четкого разделения, и его кристаллизация свидетельствует об усилении антропоцентризма в мышлении человека Нового времени.

Рассматривая идеи лингвиста Александра Пешковского, можно прийти к выводу, что наша грамматика — это «психологическая необходимость». Он полагал, что категории рода и одушевленности помогают нам структурировать хаос внешних впечатлений, набрасывая на мир сетку понятных иерархий. Без этого разделения наше сознание утонуло бы в неразличимости предметов и явлений. Одушевленность/неодушевленность и категория лица образуют ядро лексико-грамматической системы, определяя не только правила согласования, но и способ нашего присутствия в реальности. В следующих главах мы подробно

<sup>1</sup> Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). — М.: Высшая школа, 1972.

<sup>2</sup> Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. — С. 240.

разберем механизмы перехода слов из одного разряда в другой и специфику функционирования этих категорий в научном и художественном дискурсе. В русском языке мужской род является наиболее динамичной средой для проявления одушевленности. Как отмечал лингвист Александр Зализняк, именно в парадигме мужского рода второго склонения (в старой терминологии) категория одушевленности достигла своей максимальной выразительности. Здесь различие между «вижу стол» и «вижу сокола» является абсолютным и не допускает вариативности. Однако в женском и среднем роде ситуация иная. Средний род в русском языке исторически тяготеет к неодушевленности. Слова вроде «чудовище», «лицо» (в значении человека) или «дитя» представляют собой грамматический компромисс. Мы наблюдаем здесь явление, которое можно назвать «семантическим сопротивлением»: биологически одушевленный объект оказывается заперт в клетку неодушевленного рода. Грамматика среднего рода словно деперсонализирует субъект, превращая его в некую абстрактную сущность или явление природы<sup>3</sup>.

Интересен художественный пересказ мыслей из трудов лингвистов-структуралистов: средний род для одушевленного существительного — это всегда маска. Когда мы называем человека «лицом», мы стираем его индивидуальность, превращая его в юридическую или статистическую единицу. Здесь категория лица вступает в прямое противоречие с грамматическим родом, создавая эффект остранения, о котором писал Виктор Шкловский. Переходя к категории лица, необходимо подчеркнуть её уникальную роль в глагольной системе. Если у существительного одушевленность — это константа, то у глагола категория лица — это переменная, зависящая от коммуникативной ситуации. Лицо в глаголе — это «энергичный» центр высказывания. Алексей Лосев в своих философских филологических трактатах подчеркивал, что глагольное лицо — это не просто указание на субъекта, а способ утверждения воли в бытии. Когда я говорю «я пишу», я не просто констатирую факт, я манифестирую свое присутствие как разумного деятеля. Особую сложность представляют лексические группы, находящиеся на периферии одушевленности. Рассмотрим названия микроорганизмов: бактерия, вирус, микроб. В научной речи они часто функционируют как неодушевленные («изучать вирус»), однако в быденной или профессиональной речи медиков нередко проскальзывает одушевленность («убить микроба»). Это свидетельствует о том, что категория одушевленности — это «подвижная граница». Как только объект начинает восприниматься как активный враг или союзник, наделенный собственной волей к жизни, язык моментально реагирует изменением падежного окончания.

Критик и культуролог Юрий Лотман, анализируя структуру

<sup>3</sup> Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 128.

художественного текста, указывал, что наделение неодушевленного предмета признаками одушевленности (олицетворение) — это базовый механизм создания метафоры. В поэзии «ветер спит» или «небо дышит» — это не просто украшение речи, это возвращение языку его первобытной, мифологической целостности, где всё вокруг наделено лицом и голосом. Таким образом, категория лица выходит за пределы грамматики и становится инструментом конструирования художественной реальности. Также стоит затронуть вопрос собирательных существительных типа народ, толпа, студенчество. Несмотря на то, что семантически они состоят из множества одушевленных лиц, грамматически они остаются неодушевленными («вижу народ», а не «народа»). Это парадокс «единства во множестве»: как только индивидуальности сливаются в массу, они теряют свою морфологическую одушевленность. Язык словно говорит нам, что субъектность и «лицо» возможны только в индивидуальном проявлении. В лингвистической концепции Эмиля Бенвениста, чьи идеи мы можем переосмыслить в контексте русской грамматики, лицо не является простым отражением реальности; напротив, язык «изобретает» категорию лица, чтобы человек мог осознать себя как субъекта<sup>4</sup>.

Центральным звеном здесь выступает система личных местоимений. «Я» и «Ты» — это уникальные единицы, которые не имеют фиксированного денотата вне акта речи. Как тонко подмечал в своих филологических эссе Роман Jakobson, местоимения — это «шифтеры», их значение полностью зависит от того, кто в данный момент захватил право голоса. Категория лица в данном случае выступает не как лексический разряд, а как динамическая позиция в пространстве диалога. В русском синтаксисе категория лица проявляет себя наиболее ярко в феномене безличных предложений. Когда мы говорим «Светает» или «Мне взгрустнулось», мы сталкиваемся с намеренным устранением категории лица. Это — «грамматическое сиротство» действия, у которого нет явного одушевленного инициатора. Критик и философ языка Густав Шпет в своих размышлениях о внутренней форме слова указывал, что такие конструкции отражают специфически русское восприятие мира как пространства, где события «случаются» с человеком, а не иницируются им. Здесь отсутствие морфологического лица подчеркивает пассивность одушевленного субъекта перед лицом бытия.

Интересен вопрос о «четвертом лице» или неопределенно-личных конструкциях («В дверь стучат»). С точки зрения грамматической семантики, здесь происходит любопытный процесс: одушевленность субъекта подразумевается, но его «лицо» намеренно скрыто. Это создает эффект присутствия анонимной силы. В художественном тексте, как отмечал филолог

<sup>4</sup> Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). — М.: Высшая школа, 1972.

Борис Успенский в «Поэтике композиции», смещение точек зрения через игру с категорией лица позволяет автору манипулировать дистанцией между читателем и персонажем. Использование второго лица («Ты идешь по улице...») в повествовании превращает читателя в соучастника, навязывая ему маску действующего лица. Особого внимания заслуживает категория одушевленности в контексте объектных отношений. Когда одушевленное существительное занимает позицию прямого дополнения, его морфологическая маркированность (В.п. = Р.п.) сигнализирует о том, что объект сопротивляется воздействию. Мы не просто «берем книгу», мы «встречаем друга». В этом падежном совпадении заложено признание автономности другого существа. Как интерпретировал эти связи лингвист Владимир Топоров, структура падежа в славянских языках сохраняет отголоски архаического этикета: к живому нельзя относиться так же, как к мертвому веществу, и грамматика — последний страж этого разграничения.

Взаимодействие одушевленности и категории лица достигает апогея в системе обращений. Обращение — это вокативный акт, который мгновенно наделяет любой предмет признаками лица. Когда поэт обращается к «звездам» или «дубравам», он переводит их из разряда неодушевленных объектов в разряд полноправных адресатов. В этот момент лексико-грамматический разряд вступает в конфликт с синтаксической ролью, и последний всегда побеждает, создавая новую, антропоморфную реальность текста. Синтаксис лица и одушевленности в русском языке — это не просто набор правил согласования, а сложная система зеркал. В них отражается то субъект, полностью контролирующий действие, то анонимная сила, лишенная лица, то неодушевленный предмет, внезапно обретший голос в акте поэтического обращения.

#### **Список использованной литературы:**

1. Лосев А. Ф. Философия имени. — М.: Изд-во МГУ, 1990.
2. Шкловский В. Б. О теории прозы. — М.: Советский писатель, 1983.
3. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. — СПб.: Азбука, 2014.
4. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). — М.: Высшая школа, 1972.
5. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Художественная литература, 1972.
6. Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. — М.: Просвещение, 1976.